

456



Исай КУЗНЕЦОВ

# Вагончик тронется — перрон останется

На Тихорецкую состав отправится,  
Вагончик тронется — перрон останется,  
Стена кирпичная, часы вокзальные,  
Платочки белые, глаза печальные...  
(Из пьесы М. Львовского  
"Друг детства", 1961 г.)

Кого бы я ни вспоминал из дорогих мне людей, уже ушедших от нас, Алексея Арбузова или Зиновия Гердта, Бориса Слуцкого или Давида Самойлова, Севу Багрицкого или Сашу Галича, рядом с ними непременно возникает Михаил Львовский, один из самых дорогих и близких спутников почти всей моей жизни.

Познакомился я с ним у Зямы Гердта летом тридцать девятого года.

Мы с Зямой днем работали, а вечерами занимались в "Арбузовской студии". Миша учился в Литературном институте.

Он вошел в Зямину комнату запросто, не постучавшись, и с милой, по-детски обескураживающей улыбкой объявил:

— А у меня ангина!

Зяма что-то состриг по поводу его болезни и тут же, без перехода, потребовал, чтоб тот почитал свои стихи. Миша прочел небольшое, в восемь строк, стихотворение, которое я запомнил с ходу и помню до сих пор.

В Третьяковской галерее есть картина:

Гуси проплывают в облаках...

Где теперь ты ходишь, Валентина,

На своих высоких каблучках?

Как легли твои лукавые дорожки?

Так ли дни твои по-прежнему легки?

О какие чертовы пороги

Ты свои стоптала каблукки?

Потом еще одно, тоже очень юношеское, не лишнее спрятанной за иронией грустью. Начиналось оно так:

Мы любим девушку заранее,

Не угадав ее из многих,

Предпочитаем только крайние,

Невероятные дороги;

Мы выбираем три, не меньше,

Из существующих осанок

И говорим, что знаем женщин,

Перечитавши Мопассана.

Зяма привел Мишу в студию почитать стихи. Атмосфера, царившая там, в физкультурном зале школы на улице Герцена, напротив Консерватории, где мы репетировали свой "Город на заре", настолько увлекла Львовского, что он стал не только другом студии, но и активным участником всей нашей жизни. Фактически он стал одним из авторов "Города", принимая участие в работе литературной бригады на том этапе, когда переделывался последний акт пьесы.

Мишу в студии любили. Подкупали его одаренность, интеллигентность, мягкость характера и, не в последнюю очередь, удивительно тонкие, умные высказывания при обсуждении этюдов, делавшихся в процессе работы над пьесой. В своих воспоминаниях о том времени Давид Самойлов особо отмечает "тончайшие анализы Львовского" на семинарах Сельвинского.

Миша был одним из тех, кто входил в кортету талантливых молодых поэтов предвоенного времени. Само собой разумеется, он их привел к нам в студию, и все они стали ее друзьями.

Надо сказать, что среди молодых поэтов Миша занимал особое место. В его стихах не было того политического накала, который так отчетливо проявлялся в стихах Слуцкого, Кульчицкого или Павла Когана. Он не воспевал героев гражданской войны, не предавался мечтам о будущей победе коммунизма во всем мире, не мечтал "дойти до Ганга и умереть в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя". Его волновали простые человеческие чувства, что и составляет основу подлинной поэзии. А интонация его стихов, их лиричность, их доверительный тон, подкупали естественностью и изяществом.

Оговорюсь. Миша вовсе не был чужд собственной тогдашней молодежи веры в "правоту нашего дела". В том же отрывке из поэмы, который он читал при первом нашем знакомстве, есть такие строки:

...Я нес в портфеле  
фаберовские карандаши,  
И в душе —  
мечту о фабрике Красина.

Если, оглядываясь назад, я задним числом угадываю кое в ком из моих тогдашних знакомых проблески понимания — только проблески, то у Миши, как и у большинства из нас, их не было. Мы все носили в душе "мечту о фабрике Красина", верили в наше пре-

красное будущее. Даже те, кому судьба их родителей могла бы подсказать, что же такое на самом деле "эта, наша, Советская власть". Все-таки позади был тридцать седьмой год.

Эта не вина наша. Это наша беда. Впрочем, и вина тоже.

Понимание со временем к нам придет. Придет оно и к Мише, придет болезненно, драматично, болезненней и драматичней, чем для многих из нас.

А тогда... Тогда сама наша молодость, увлечение поэзией и театром, мешали серьезным и слишком глубоким размышлениям. Мы были молоды, доверчивы и отдавались полностью тому, что нам было интересно, что доставляло нам радость и удовольствие.

А потом была война.

Миша не сразу ушел в армию. Он, вместе с Арбузовым, Александром Гладковым и Севой Багрицким, принимал участие в создании концертной программы для студии, собирался вместе с ней ехать на фронт.

На фронт, ни со студией, ни как-либо иначе, он так и не пошел. Призванный в армию, он оказался в частях, дислоцированных в Иране. Он не любил вспоминать это время, судя по всему, очень для него тяжелое. Он не был приспособлен для "несения воинской службы". А что такое служба в частях, не принимающих участия в боевых действиях, хорошо известно. Это издевательства старшин и сержантов над "интеллигентными хлюпиками", вечные наряды вне очереди, изнуряющие, по существу бессмысленные строевые занятия и столь же бессмысленные учебные марш-броски по ночам для охранения "постоянной готовности". В Иране ко всему этому прибавлялась особая атмосфера пребывания в чужой стране, повышенная бдительность, почти полная изоляция в казармах от окружающего мира.

Но и в этих условиях Миша оставался поэтом. Он пишет песню "Вот солдаты идут по степи опаленной...". Будучи строевым, и вместе с тем — глубоко лиричной, эта песня завоевала огромную популярность, стала подлинно народной. Кончилась война. Я был демобилизован лишь летом сорок шестого. Все эти годы ничего о Мише не знал. Первые месяцы после демобилизации прошли в тщетных попытках осознать свое положение и поисках ответа на вопрос "что делать". Арбузовской студии уже не существовало. Профессии у меня, по существу, никакой не было. К тому же я еще и женился. Надо было зарабатывать деньги.

Львовский, с которым я встретился после войны, демобилизовавшийся ранее, работал на радио, в детском отделе, помощником заведующего редакцией школьных передач. Заведующей была прелестная, талантливая Вика Мальт, а Миша, среди прочего, занимался спортивной передачей "Внимание, на старт!", для которой сочинил песенку. С нее начиналась передача — "Внимание, на старт! Нас дорожка зовет беговая", и еще более ста песен, в том числе одну, написанную с поэтом Кронгаузом, где были такие слова:

Ни мороз мне не страшен, ни жара,  
Удивляются даже доктора,  
Почему я не болею,  
Почему я здоровее  
Всех ребят из нашего двора?  
Потому, что утром рано  
Заниматься мне гимнастикой не лень,  
Потому, что водою из-под крана  
Обливаюсь я каждый день!  
Это при том, что сам Миша был человеком далеко не спортивным.

Миша предложил мне прийти на радио, с тем, чтобы они с Викторией придумали мне какое-нибудь задание, а я сделал бы передачу. Мне эта мысль понравилась.

Так началась моя работа на радио в качестве внештатного автора. Естественно, виделись мы с Мишей едва ли не ежедневно. И не только в радиокomiteте, на Путинках. Встречались мы у Зямы, вместе с ним начали даже писать пьесу, вернее, писать так и не начали, бросили.

К тому времени прошла послевоенная эйфория. Уже позади было постановление об Ахматовой и Зощенко, шла борьба с "низкопоклонством перед Западом", нарастала откровенно антисемитская кампания против "космополитизма", ужесточилась цензура. Сейчас никому ничего не говорит имя аме-

риканки Анабеллы Бюкар, тогдашней, то ли стенографистки, то ли секретарши в посольстве Соединенных Штатов. В сорок девятом году, в газете "Правда" появилась большая, на целую полосу, статья за ее подписью, с разоблачением небезвредной для Советского государства деятельности некоторых работников американского посольства. Даже тогда мало кто сомневался в том, что эта пресловутая статья писалась под диктовку представителей соответствующих органов. Говорили, что она влюбилась в какого-то русского, оказавшегося кагебешником и, возможно, по доброй воле, а может, и под нажимом, выступила со своими разоблачениями. Не знаю, что уж там было особо опасного для нашего государства, но Мишу статья коснулась самым непосредственным образом. В ней упоминался советский гражданин, заведовавший хозяйством посольства, некий Биндер.

Вероятно, я бы даже не обратил внимания на эту статью и во всяком случае никогда бы не запомнил имени ее автора, если бы не этот самый Биндер, оказавшийся родным братом Мишиной матери. Девичья ее фамилия была Биндер.

Логика нормального советского человека в такой ситуации подсказывала — ни в коем случае не подавать виду, что эта злополучная статья имеет хоть какое-нибудь к тебе отношение.

Миша поступил с точностью наоборот: он отправился к тогдашнему главному редактору Всесоюзного радиовещания Лапину и сообщил, что упоминаемый в статье Биндер — его родной дядя. Предпочел, чтобы начальство узнало это от него, а не от какого-нибудь бдительного доброхота. Миша был испуган, что вполне естественно по тем временам, и думал, что добровольная явка, честное признание, избавит его от неприятных последствий.

Не избавила.

Вика Мальт рассказывала, что Лапин в разговоре с ней сказал, что уволить Львовского был вынужден именно из-за его признания.

— Зачем он пришел ко мне? — недоумевал Лапин. — Кто бы стал выяснять, не является этот чертов Биндер его дядей?

Для Лапина увольнение Миши было делом естественным и рутинным. В любом случае он проявил бдительность. Тем более, что Львовский был евреем. А на дворе — сорок девятый год.

Для Миши это было событием, которое не могло не оставить след в его жизнеощущении.

Жил он тогда со своей первой женой Олей в крохотной комнатке, в Докучаевом переулке.

Я часто бывал у него. Он почти не выходил из дома, жил в страхе, ожидая неизбежного, как он полагал, ареста. К сожалению, его страхи подогревались кое кем из его знакомых доброжелателей. Кто-то обещал выяснять через кого-то, заведено ли на него в "органах" дело. Кто-то предлагал написать Сталину.

Мысль эта возникла в связи с забавным эпизодом из его детства.

Двадцатые годы, двадцать шестой — двадцать седьмой. Где-то на юге, кажется, в Со-

чи, Миша живет с матерью в санатории, рядом с дачей Сталина. Однажды, за тем, как он резвился в море, наблюдал Сталин с сопровождающими его лицами. Когда Миша вышел из воды, Сталин сказал ему, что он хорошо плавает. Миша похвастался, что может переплыть даже Кубань — он жил с матерью в Краснодаре. Сталин повел его к себе на дачу, расспрашивал о родителях. Он знал и его мать, "Рыжую Клару", и отца, в свое время помогавшего ему бежать из ссылки в Туруханске. Он вручил ему пакет с фруктами и виноградом и попросил передать матери привет.

Миша поблагодарил и собрался уйти. Провожавший его охранник спросил:

— А ты знаешь, с кем ты разговаривал?

— Нет, — простодушно ответил Миша.

— Это же Сталин! Иосиф Виссарионович Сталин!

Так что мысль о Сталине имела некоторый смысл. Однако мудрый Давид Самойлов обращать к "отцу всех народов" отсоветовал.

— Не надо. Может быть еще хуже.

В конце концов Миша решил отправить на Лубянку. Его приняли весьма вежливо. Слова о том, что своего дядю он мог видеть только в двухлетнем возрасте и никогда с ним не встречался, были выслушаны с пониманием. Ему сказали, что у них нет никаких к нему претензий, но он обращается не по адресу — ведь не они его уволили.

— Вот так, ребята, — как говорил его друг Зяма Гердт. — Напрасно ты поплелся на Лубянку!

Да, напрасно. Но за этим его поступком стоял подлинный страх, чисто советский страх, хорошо знакомый моему поколению.

Однако постепенно он выходил из этого состояния. В значительной степени помогли ему в этом друзья на радио и в первую очередь Вика Мальт, тоже, вскоре, вслед за Мишей, уволенная Лапиным, и его будущая жена Ляля. Им удалось привлечь авторов, под чьим именем шли его передачи. Среди них — Вадим Коростылев, Олег Писаржевский и Николай Александрович, работавший на радио режиссером.

Кстати, именно для Александровича, с которым Миша вместе служил в Иране, он в сорок седьмом году, когда тот играл в пьесе Малюгина "Старые друзья", сочинил песню, знаменитый "Глобус".

Я не знаю, где встретиться  
Нам придется с тобой,  
Глобус крутится, вертится,  
Словно шар голубой...

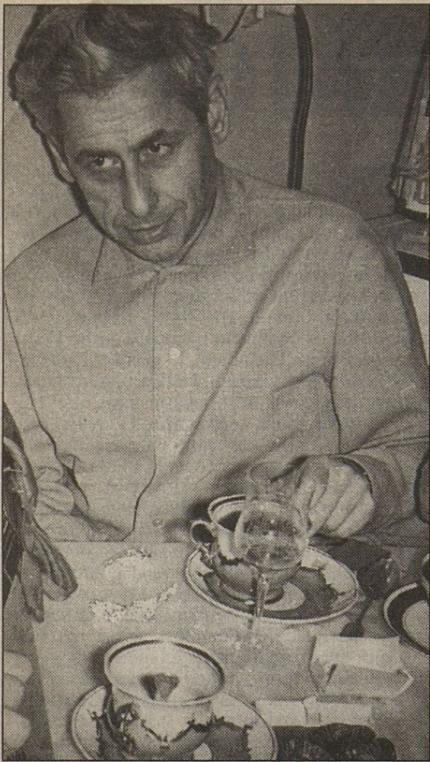
У этой песни, исполнявшейся на мотив шуточной песенки Михаила Светлова, поразительная судьба: она стала одной из самых любимых песен туристов и не только туристов. Я слышал ее и на Клухорском перевале, и в Сванетии, и на Эльбурсе, и в Сибири, на Енисее. Для туристов она стала настолько своей, что неизвестные авторы присочиняли к ней десятки новых куплетов, а имя автора знают далеко не все, что ее пел, да а сейчас поет.

Передачи Львовского, подписанные друзьями, давали ему средства к существованию. Но главное все же было то, что они отвлека-



Экран и сцена

4.2000. Львовский Михаил



ли его от мрачных мыслей и предчувствий. К этому времени в его жизни произошло серьезное событие — он разошелся со своей первой женой и стал мужем Ляли. Брак этот был на редкость удачным. Прекрасный редактор, она стала его верным помощником и другом. Он нашел в ней заботливого и верно-го спутника, сумевшего создать самые благоприятные условия для его жизни и творчества.

В начале пятидесятых Миша с Вадимом Коростылевым написали пьесу "Димка-Невидимка". Пьесу поставили в Центральном Детском Театре. Это был дебют не только самих драматургов, но и первая режиссерская работа Олега Ефремова, будущего создателя "Современника". Пьеса имела успех и шла многие годы.

Так поэт Львовский стал драматургом.

В предвоенное время их было шестеро — молодых, еще не слишком известных поэтов. Именно шестерых называет Самойлов в своих "Памятных заметках" — Бориса Слуцкого, Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Сергея Наровчатова, Михаила Львовского, и себя — Давида Самойлова, в главе, которая называется "Кульчицкий и пятеро".

На первом своем сборнике "Память", подаренном Мише, Борис Слуцкий написал: "Михаилу Львовскому — одной шестой, той компании, которая несколько изменила ход развития советской поэзии. От другой одной шестой, на память об остальных четырех".

Михаил Кульчицкий и Павел Коган погибли.

Слуцкий и Самойлов заняли свое место в русской поэзии, место достаточно высокое.

Наровчатова, побывав на высотах литературно-чиновничьего Олимпа, больше известен как функционер, чем как поэт.

Львовский...

Что помешало ему осуществиться в поэзии на высоте Самойлова и Слуцкого? Для этого у него были все данные. Впрочем, это не совсем так — в поэзии он осуществился. Его песни стали настолько популярны, что порой теряли имя автора — высшая степень признания!

По уровню таланта — если можно в отношении таланта употребить такое выражение, Львовский не уступал ни Самойлову, ни Слуцкому. Это признавали и они сами. Даже такой, глубоко политизированный поэт, как Кульчицкий, при первом же прослушивании его стихов признавал в нем настоящего поэта. Борис Слуцкий и Давид Самойлов часто высказывали глубокое сожаление о том, что Миша ушел из поэзии в драматургию.

Да, драматургия стала для Львовского главным его делом. И не случайно. Не случайно, в свое время, пришел он к нам в студию — у него была тяга к театру. Он, если я не ошибаюсь, даже поступал в театральное училище, правда, неудачно. Постепенно театр вытеснял стихи. В драматургии он нашел лучший путь для самовыявления. Но и в драматургии оставался поэтом.

Может быть, отсюда и рождались наши споры — для меня большую роль в пьесе играл сюжет, для него — поэзия. Хотя и пьесы его и сценарии выстроены на глубоко продуманной сюжетной основе. Нет, он, конечно, был драматургом в полном смысле этого слова, его театр не был так называемым "театром поэта". Но поэзия жила во всех его пьесах и сценариях.

Кстати сказать, в кино он в большей степени нашел себя. Вернее, там ему больше сопутствовала удача. Фильмы, снятые по его

сценариям, — "Я вас любил", "Точка, точка, запятая", "В моей смерти прошу винить Клаву К" — пользовались огромным зрительским успехом и были высоко оценены критикой. И кто бы их ни ставил, Фрэнк или Митта, или еще кто-то, они были фильмами Львовского, несли в себе его эстетику, его ощущение жизни, его размышления и тревоги.

В кинословаре, изданном в 1986 году, сказано, что Львовского волнуют "проблемы нравственности и эстетического воспитания". Чувств! Его пьесы и сценарии посвящены тому трудному и болезненному периоду человеческой жизни, когда юноша стоит в растерянности перед проблемами, которые ставит перед ним взрослая жизнь. Недаром одна из первых его пьес называлась "Друг детства". Львовский не был так называемым детским драматургом. Детство занимало его как писателя своей значительностью и важностью для всей последующей жизни человека и не в последнюю очередь его драматизмом. Помню, как Леонид Федорович Макарьев, актер и режиссер ленинградского ТЮЗа, развивал перед нами мысль о трагизме этого возраста. Миша чувствовал и понимал этот трагизм. Потому что при всей остроте его ума, при всем глубоком понимании поэзии, литературы, кинематографа, будучи уже заслуженным деятелем искусств и лауреатом многих премий, он оставался "родом из детства".

Он никогда не был до конца удовлетворен воплощением своего замысла. Успех не кружил ему голову.

Понимая, что вмешательство режиссера, как бы ни был тот талантлив, и особенно, если талантлив, неизбежно что-то искажает в его замысле и в то же время лишает непосредственного контакта со зрителем, он уходил в прозу, в которой он был сам собой и не нуждался в интерпретаторах. Я это хорошо понимаю — я и сам ощущал то же самое, и тоже уходил в прозу.

Однажды, кажется это было в начале шестидесятых, я прочел ему свой рассказ. Это был довольно странный рассказ о невозможности рассказ написать. Он слушал с напряженным вниманием и с полной отдачей себя во власть читающего, это было характерно для него в случаях совпадения услышанного с тем, что волнует его самого.

Миша оценил этот рассказ, как я теперь понимаю, с немалым завыванием. Он говорил о современности и своевременности моего подхода к прозе, доставив мне, слегка тщеславное, удовольствие. Рассказ был не столько хорош, сколько близок ему по своему духу. Решаюсь предположить, что именно это чтение подтолкнуло его к писанию прозы. Во всяком случае с его прозой я познакомился уже после этого случая. Это был рассказ "Проклятый доктор".

Его рассказы безукоризненны по вкусу, великолепны по языку, значительны по мысли и опять-таки — безусловно, поэтичны.

Что-то внутри нас выбирает пути самовыражения, самораскрытия. Выбор далеко не всегда диктуется внешними обстоятельствами, чаще — самой природой замысла, требующего тот или иной жанр для более адекватного своего воплощения. Сегодня это стихи, завтра — пьеса, сценарий или проза.

Приход Львовского в драматургию и прозу был вызван не охлаждением к собственно поэзии, не ощущением исчерпанности своих возможностей в ней, а естественным выбором той области литературы, которая в данный момент соответствовала его внутреннему состоянию. Впрочем, он всю жизнь писал и стихи.

— Я не бросал стихи, я пишу! — с некоторым раздражением говорил он тем, кто высказывал сожаление, что он оставил поэтическое поприще. Писать стихи он не переставал, но поприще оставил. Сигнальный экземпляр небольшого сборничка, им самим придиричиво отобранных стихов, он успел поддержать в руках еще при жизни, в один из моментов, когда к нему возвращалось сознание.

— Посмертно... — проговорил он, держа сборник в руках.

Миша был человеком для меня очень близким и занимает в моей жизни большое и важное место, притом, что его жизненный тонус не всегда совпадал с моим. Вернее, не столько тонус, сколько характер, его восприятие жизни, повышенная чувствительность, подчас болезненное отношение к тем или иным событиям. Частенько то, что вызывало у меня иронию, он воспринимал драматично.

Моде он не поддавался. В известной степени, в отношении к некоторым новым тенденциям в театре и кино был даже слегка консервативен, что тоже было предметом наших разногласий.

Мы с моим соавтором Авениром Заком часто встречались с ним, много разговаривали и нередко спорили. И тем не менее, как я уже говорил, именно ему, одному из первых читали свои пьесы и сценарии. Его мнение было для нас далеко небезразличным. Он удивительно точно ощущал наши удачи и промахи. Мы прислушивались к его мнению. Спорили и прислушивались.

Он легко увлекался чужим замыслом, развывая его, открывая в нем новые, неожиданные для самого автора возможности. И естественно, что вокруг него вилось немало тех, кто отнюдь небескорыстно пользовался готовностью делиться своими мыслями и сообщениями. На это он был необыкновенно щедр.

Думаю, Миша недооценивал себя, своего дарования. Отсюда — ревнивое отношение к успехам своих друзей. В этой ревности не было никакой зависти. Он искренне радовался успехам близких ему авторов, в том числе и нашим. Скорее всего, это было недоверие к успехам собственным. Я это понимаю. Я и сам частенько с сомнением воспринимаю всякого рода восхваления, подозревая за ними попытки удовлетворить авторское самолюбие.

Но какие, например, сомнения мог вызывать успех его фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К", великолепно принятого зрителями и критикой? И тем не менее он не сразу понял, что это успех и успех полный, и, безусловно, заслуженный.

Особенно болезненно воспринимал он неудачи, такие, как постановка его "Друга детства" в "Современнике", целиком лежавшая на совести театра, или запрещение "Танцев на шоссе", написанной им с Гердтом. Я помню, в каком подавленном состоянии он находился некоторое время после этого. Неудивительно: пережитое в сорок девятом давало о себе знать. Вообще, свои неудачи он переживал гораздо сильнее и глубже, чем успехи. Что делает ему честь.

Общение с Мишей, его высказывания давали богатую пищу для размышлений. И не случайно к нему тянулись многие, вполне сложившиеся писатели и режиссеры. У него можно было встретить и Анатолия Гребнева, и Ролана Быкова, и Бена Сарнова, и Александра Володина, не говоря уже о Зиновии Гердте, дружба с которым никогда не прерывалась. Александр Володин, всегда державший дистанцию в общении даже с людьми, ему симпатичными, стал его ближайшим другом. Миша обладал свойством привлекать к себе людей.

Среди тех, кто посещал его квартиру на седьмом этаже дома на Красноармейской, надо назвать и так называемых бардов — Сашу Галича, Юлию Кима, Юрия Визбора, Аду Якушеву, Владимира Высоцкого и многих других.

Между прочим, одной из очень немногих песен, исполнявшихся Высоцким, сочиненных не им самим, была, ставшая популярной, прелестная песня Львовского, написанная им для своей пьесы "Друг детства":

*На Тихорецкую состав отправится,  
Вагончик тронется — перрон останется...  
Стена кирпичная, часы вокзальные,  
Платочки белые, глаза печальные...*

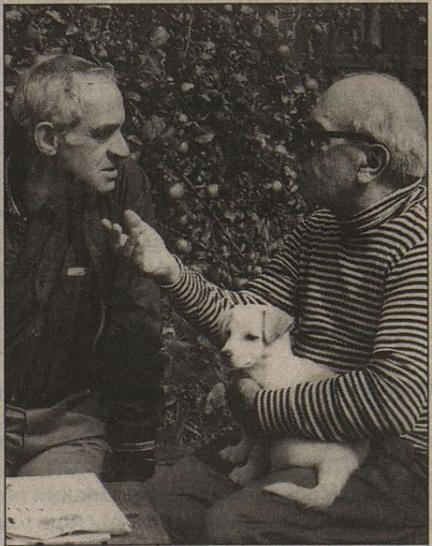
Песню эту использовал в своем фильме "Ирония судьбы" и Эльдар Рязанов. Музыку написал Микаэл Таривердиев.

Миша увлекался звукозаписью едва ли не фанатично. Он непрерывно совершенствовал свою радио- и звукозаписывающую аппаратуру, в чем ему помогал его сын Коля. Помню, как во время нашей поездки в Швецию он не пропустил ни одного магазина в Гетеборге и Стокгольме, разыскивая какую-то необходимую ему деталь.

Зяма Гердт посмеивался над этой его страстью:

— Если вдруг по радио сообщат, что началась война, Миша, прислушиваясь к звучанию своего радиоприемника, скажет: "Нет, ты слышишь, какой звук, а?!" и с сожалением добавит: "И все-таки высоких тонов не хватает".

Да, была страсть, способная вызвать улыбку, иронию. Но в результате — сотни бесценных записей бардовских песен в исполнении самих авторов, с их комментариями и высказываниями, множество записей



бесед с известными писателями, артистами, режиссерами.

Это увлечение Львовского не случайное хобби. Миша всерьез занимался изучением уникального явления — русской авторской песни. Я слышал от него немало интереснейших соображений по этому поводу. Песню он чувствовал и понимал — не случайно так полюбили людям его собственные песни. И не случайно к нему шли сами барды, они прислушивались к его мнению, как и мы с Заком.

Мы частенько посмеивались над Мишиной мнительностью, был в ходу даже такой термин, как "львовщина". А между тем, болезнь подкрадывалась к нему, и скорее всего это была не мнительность, а предчувствие.

И болезнь пришла.

Он то приходил в себя, то впадал в бессознательное состояние и оказывался в больнице. Ему дважды делали операцию, он снова приходил в себя, а через какое-то время снова оказывался в клинике. Ляля не отходила от него, проводя почти все время рядом. Какого напряжения и стойкости это стоило, можно себе представить. Но ни ее забота, ни усилия врачей не могли его спасти.

Как-то, будучи в сознании, сказал Ляля: "Что же это я лежу один, никто ко мне не приходит?"

Мы с Женей навестили его незадолго до его кончины.

Ляля рассказывала нам, что накануне, когда она разговаривала по телефону с моей женой Женей, Миша спросил, с кем она говорит. Она назвала Женю.

— Как хорошо, что есть на свете Женя Петрова, — сказал он.

Когда мы пришли, он спал. Ляля проводила медсестру, которая приходила три раза в неделю. Это стоило немалых денег. В этих непомерных тратах ее поддерживал Зяма Гердт. Мало кто столько сделал для того, чтобы спасти Мишу.

Мы разговаривали на кухне с Лялей, когда Миша проснулся и позвал ее. Она прошла к нему и немного погодя, пригласила нас.

Сознание, по словам Ляли, все время колеблется между ясностью и замутненностью. Взгляд почти неподвижный, устремленный куда-то в себя. Говорит с трудом, я разбираю плохо. Я что-то спросил. Отвечал коротко, но осмысленно.

— Оказывается, что я живу, — сказал он. — Трудно, но живу. А я думал, что меня уже нет.

Мы понимали, что видим его в последний раз. Понимали, но верить в это не хотелось.

Каждый реализуется в меру своих способностей. Так ли это? Да. Но не только. Каждый реализуется еще и в меру своей способности противостоять обстоятельствам и своему времени.

Мне думается, что в полной мере талант Львовского не раскрылся. Такие его рассказы, как "Доктор" и многие другие, говорят о том, что и в драматургии он мог бы раскрыться и глубже, и значительней. Как, впрочем, и не он один. И дело не только в государственной цензуре, дело в той собственной, которая поддерживалась страхом, составлявшим воздух нашего времени. Самые глубокие, самые значительные замыслы подавлялись в своем зародыше, подчас бессознательно. Во многих сценариях Львовского заложены мысли и чувства, идущие далеко за пределы того, что называется советским кинематографом. Думаю, что он это чувствовал и понимал.

Не считая стихов и рассказов, он написал и портреты близких ему людей — Зиновия Гердта и Ролана Быкова. Оба написаны с присущим ему блеском, глубиной и точностью. Очерк или, вернее, эссе о Зиновии Гердте представляется мне более непринужденным и душевным — Зяму он знал хорошо и любил. О Быкове он пишет с пониманием его значительности, с уважением и восхищением его талантом, но чуть более отстраненно. Первоначально он назвал эту книжечку "Актер, которому верят". Ролан настоял на другом названии — "Человек, которому верят". Миша не возражал.

— Ролан — это Ролан...

К чести Быкова надо сказать, что он остался верен своей дружбе и помог Ляле выпустить сборник Мишиной прозы. Дал деньги, сам организовал его издание. Ролан — это Ролан.

Ушел и Ролан. Ушел вслед за Мишей и его ближайший друг Зяма.

Уходят, уходят, уходят...

- М.Львовский с исполнителями спектакля «Кристаллы П.С.». ТЮЗ
- Михаил Львовский, 70-е годы
- З.Гердт и Д.Самойлов. Парну, 80-е годы